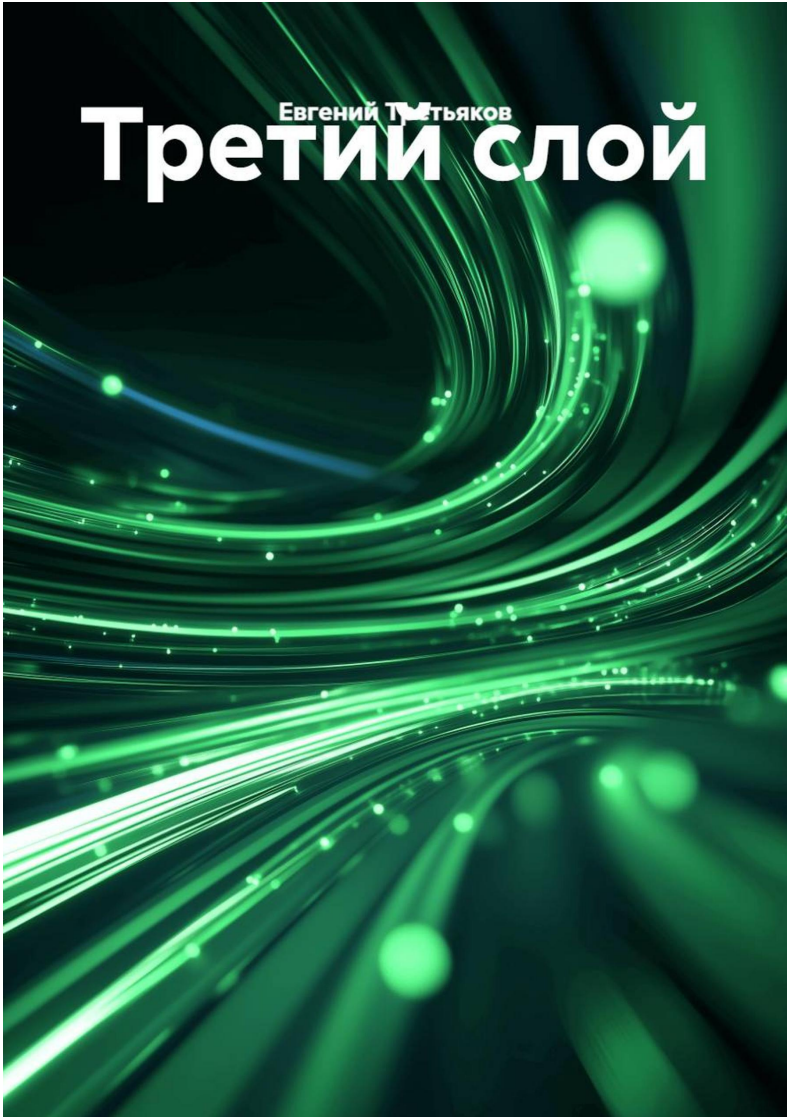

Евгений Третьяков
Третий слой

Евгений Третьяков

Третий слой

https://litres.ru/74828313
SelfPub; 2026

Аннотация

Когда в стране исчезает связь, инженер Илья, способный слышать странный аномальный гул, попадает в разведгруппу, идущую по следам пропавшего отряда. В мертвом лесу он понимает, что враг уже здесь: нападавшие не считают про себя, чтобы не сойти с ума, — их ведут. Илье предстоит разгадать тайну сигнала, который способен останавливать время, и спасти командира, ставшего проводником чужого голоса, пока мир вокруг окончательно не замер.

Евгений Третьяков
Третий слой

Глава 1. Ни одной палочки

Автобус шёл медленно, но я не торопился. Мне было к девяти, а сейчас было восемь двадцать, и до бюро оставалось ещё четыре остановки. Я стоял, держался за поручень и смотрел в телефон. Ни одной палочки. Уже третью неделю.

Сначала все нервничали: на работе обсуждали, кто какой оператор, у кого лучше ловит, кто что слышал. Потом перестали. Теперь телефон носили просто так — как ключи, как кошелёк. Иногда кто-нибудь в автобусе доставал его, смотрел на пустой экран и убирал. Все всё понимали, но никто ничего не говорил.

За окном был перекрёсток. Двое в серой броне стояли у перехода — контрактники, они теперь везде, и их давно никто не разглядывал. Броня у них была гладкая, без швов и ремней, будто отлита целиком, — такую не снимешь быстро, и я не понимал, как они в ней спят. У одного в руках был прибор размером с рацию: он гудел тихо, на одной ноте. Люди проходили мимо, и когда проходили, прибор щёлкал. Люди не оборачивались. Привыкли. Я тоже привык — до того утра, когда услышал в этом гуле второй слой.

Не звук — рисунок. Как морзянка, только не точка-тире, а что-то другое, с паузами не там, где ждёшь. Я годами крутил

ручки настройки на старых приёмниках, и меня этим не обманешь. Обычный гул так не устроен — в нём есть порядок.

Когда я это понял — недели две назад, — я стал прислушиваться. И заметил: гул менялся. Не сильно, на волосок, но когда кто-то шёл мимо и всматривался в броню, рисунок становился плотнее. Будто прибор замечал, что его замечают.

В то утро один из них повернул голову. Не в мою сторону — чуть мимо. Секунду смотрел, потом отвернулся.

На столбе висел плакат: «Тыл — это тоже фронт». Бумага отклеилась с одного угла и хлопала на ветру. Никто не подклеивал.

У магазина стояла очередь. Небольшая, человек десять, но она теперь всегда была. Раньше я думал, что очереди — это когда чего-то нет. Оказалось, очередь — это когда неизвестно, есть или нет, но на всякий случай надо.

Я вышел на своей остановке и шёл два квартала пешком, мимо гаражей и старой котельной. Бюро наше было в двухэтажном здании; вывеска «КБ-14» облупилась ещё до всего этого, и её так и не покрасили.

В коридоре пахло кофе из автомата и старой бумагой. Костя уже был на месте. У него на стене над столом висели вырезки — он клеил их на скотч ровными рядами и подписывал карандашом: дата, издание. Изданий осталось два, но Костя собирал всё, что попадалось.

— Привет, — сказал он. — Слышал? — Что? — Ночью опять. — Опять что? — Ну, опять. — Он показал рукой в

сторону окна. — Не знаю. Радио молчало до трёх. — Может, ремонт. — Может.

Он отвернулся к своим вырезкам, и на этом разговор закончился. Костя вообще-то был хороший, но у него была особенность: он всё время ждал, что кто-то скажет ему что-то важное. И когда не говорили, он обижался.

В девять пришёл Геннадий Петрович. Наш начальник бюро, пятьдесят шесть лет, любил слово «план» и не любил, когда к нему приходили с вопросами, на которые нет ответа в инструкции.

Планёрка была в кабинете. Все восемь человек, включая меня. Обсуждали сроки. У нас было отставание на четыре процента, и Геннадий Петрович говорил, что это недопустимо. Я смотрел на цифры и думал, что четыре процента — это ничего. Но вслух не говорил. Вслух никто не говорил.

— Костя, — сказал Геннадий Петрович, — ты опять на планёрке с газетой? — Это не газета. — А что это? — Это сводки. — Костя. — Геннадий Петрович снял очки. — У нас план. Ты понимаешь, что такое план? Это когда всё должно быть сделано к сроку. Всё остальное — не наша зона ответственности. — Там люди, — сказал Костя. — Там армия, — сказал Геннадий Петрович. — А у нас бюро. Всё, вопрос закрыт.

Костя замолчал. Он всегда молчал на этом месте. Потом шёл курить, хотя ему было нельзя — у него было плоскостопие и вообще здоровье не то, его поэтому и не брали. Он го-

ворил об этом один раз, в коридоре, когда мы ждали кофе. Сказал: «Я бы пошёл, но не берут. Смешно, да? Там люди гибнут, а я тут сижу, потому что у меня стопа плоская».

Я тогда не знал, что ответить. И сейчас не знаю.

В десять пятнадцать я пошёл к автомату. Это был мой ритуал — каждое утро, после планёрки, чашка кофе. Автомат был старый, иногда зажёвывал стаканчик. В тот день он опять зажевал. Я достал отвёртку из кармана, открыл панель, поправил направляющую. Тридцать секунд, и всё работало.

— О, — сказала женщина из бухгалтерии, — починил? — Пока да.

Я гордился этим. Это, пожалуй, было лучшее, что случится за день.

После обеда Костя подошёл ко мне с вырезкой. Не с обычной — с той, где почти не было текста, только фотография. На фотографии была колонна: люди в форме шли по дороге, и над ними было небо. Серое. Странное. Я не сразу понял, что в нём было не так, а потом увидел: ни одного облака, но и солнца нет. Просто серое, ровное, как бумага.

— Смотри, — сказал Костя. — Это с той стороны. — И что? — Оттуда больше не приходят фотографии. Эта — последняя. Ей четыре месяца. — Ну, цензура. — Может, и цензура. — Он свернул вырезку. — А может, и нет.

Он ушёл, а я подумал: почему не спросил, откуда он это взял? Но было уже поздно — он был в другом конце коридора.

Вечером я ехал домой на автобусе. Тот же маршрут, только в обратную сторону, только темно. За окном опять был перекрёсток, опять двое в серой броне. Прибор гудел. Я прислушался. В тот вечер рисунок был другой: паузы короче, будто сигнал торопился. Щёлк. Щёлк. Щёлк. И один из них снова повернул голову — теперь точно в мою сторону.

Я отвернулся.

Дома у меня было заставлено всем подряд: приёмники, магнитофоны, часы, старый телевизор, который я никак не мог доделать. Я покупал сломанные вещи на барахолке и оживлял их. Не потому, что они были нужны, — они никому не были нужны. Просто мне нравилось, когда что-то начинало работать.

В тот вечер у меня был новый приёмник. Довоенный, деревянный корпус, внутри почти всё целое, только лампа сгорела. Я поменял лампу, включил. Шипение. Крутил ручку. Шипение сменилось голосом — не нашим. Язык странный, но интонация знакомая: так читают сводки. Голос говорил минуты две, потом замолкал. Я ждал. Потом услышал ещё один голос, гораздо тише, будто очень далеко:

— Кто-нибудь. Кто-нибудь, ответьте.

И тишина.

Я сидел с паяльником в руке и слушал шипение. В нём опять был рисунок — тот же самый, что у перекрёстка, с паузами не там, где ждёшь. Я узнал его. Я его уже слышал сегодня утром.

Потом выключил приёмник. Потом включил снова. Шипение, и больше ничего.

Лёг спать в полночь. Перед сном проверил телефон — ни одной палочки. Положил его на тумбочку.

И заснул.

Глава 2. Запись

Решение пришло ночью, и оно было простым: если я это слышу, значит, это можно записать.

У меня был старый катушечный магнитофон, я его починил ещё в прошлом году. Он был тяжёлый, в кожаном чехле, с микрофоном на шнуре. Я достал его с полки и проверил ленту — хватало минут на сорок. Потом оделся, положил магнитофон в сумку и вышел.

На улице было пусто. Фонари горели через один, у гаражей было темно. Я шёл к перекрёстку не по своей стороне, а по той, где меньше окон, и остановился за автобусной остановкой — отсюда было видно, но меня не было видно.

Они стояли на том же месте. Двое. Прибор гудел — тихо, ровно, с тем самым рисунком. Я достал магнитофон, поставил на скамейку, подключил микрофон. Нажал запись. Катушки начали крутиться, тихо шурша.

Я стоял и слушал. Гул шёл, рисунок был на месте. Проходила минута. Две. Ничего не менялось.

Потом один из них повернул голову.

Не в мою сторону — но и не мимо. Он стоял так секунду, потом сделал шаг. Потом второй. Они шли к остановке.

Я схватил магнитофон. Он был тяжёлый, шнур путался, микрофон болтался на весу. Я присел за остановкой, прижал магнитофон к груди, старался не дышать. Катушки всё ещё крутились — шуршали, тихо, но в этой тишине казалось, что громко.

Шаги. Ближе. Потом остановились.

Я видел их ноги из-под скамейки — серые, гладкие, без обуви в привычном смысле, будто отлитые вместе с бронёй. Они стояли в двух метрах. Прибор гудел. Рисунок в нём менялся — становился плотным, частым, как стук зубов.

Я не дышал. Держал магнитофон. Катушки шуршали.

Секунда. Две. Пять.

Потом шаги удалились. Я подождал ещё минуту, потом выглянул. Они были на месте, у перехода. Стояли как стояли. Будто ничего не было.

Я шёл домой не по улице, а через дворы. Магнитофон в сумке, сумка на плече, руки холодные. Дома я поставил его на стол, отмотал ленту и включил.

Шипение. Гул. Рисунок — тот же самый, я его узнал. Всё как я слышал.

А потом, поверх гула, на той же ленте — голос. Не мой. Женский, тихий, будто очень далеко:

— Не записывай. Они слышат запись.

И тишина.

Я сидел и смотрел на катушки. Они всё ещё крутились, лента шуршала, и в шуршании я слышал, как у меня стучит

сердце.

Потом выключил магнитофон. Сидел в темноте. Думал: откуда на моей ленте чужой голос? Я записывал гул, только гул. Никого рядом не было.

А потом думал второе: она сказала «они слышат запись». Значит, запись — это уже сигнал. Значит, меня услышали в тот момент, когда я нажал кнопку.

Я смотрел на магнитофон. Он стоял на столе, старый, деревянный, с блестящими катушками. Мой. Я его сам починил.

Встаю, беру его, иду в ванную. Там нет окон. Ставлю на стиральную машину. Закрываю дверь.

Потом возвращаюсь в комнату и сажусь на пол, спиной к стене. Сижу так, пока не начинает светать.

Глава 3. Час

Стучали в дверь через два дня. Не звонили — стучали: три раза, коротко, будто проверяли, дома ли. Я как раз паял приёмник, тот самый, довоенный, в деревянном корпусе, и в комнате пахло канифолью и тёплой пылью. За окном моросило — третий день подряд, — и на подоконнике лежал серый свет, будто кто-то накрыл город мокрой газетой. Я отложил паяльник, вытер руки о штанину — на ней уже было пятно от олова, — и пошёл открывать.

На пороге стояли двое, в форме, без брони. Обычные люди, только глаза усталые и плащи блестели от дождя. Тот, что постарше, держал кепку в руке, будто извинялся, что при-

шёл.

— Вы записывали сигнал? — спросил он.

Я не успел ответить.

— У вас в ванной магнитофон. Мы знаем.

Они не угрожали. Просто стояли и ждали, и с их плащей капало на лестницу. И от этого было страшнее, чем если бы угрожали.

— Нам нужен человек, который слышит, — сказал второй. — У нас таких нет. — Я не военный. — Знаем. — Я не умею стрелять. — Научим.

Я смотрел на них и думал: а если откажусь? Они не говорили, что будет. Просто стояли. И я понимал, что отказ — это тоже ответ, и он им не понравится.

— Дайте сутки, — сказал я. — Час, — сказал старший. — Через час внизу.

Они ушли. Я закрыл дверь и остался один.

Час — это много, если знаешь, что делать. И очень мало, если не знаешь.

В комнате было тепло, пахло канифолью, и на столе лежал приёмник, разобранный, с открытой лампой. Я сел на пол, спиной к стене, как тогда, после записи, и смотрел на него. Он старый, в кожаном чехле, с блестящими катушками. Я его сам починил. Я знаю, где у него слабое место в механизме, и знаю, как его чинить, если зажуёт ленту.

Я достаю сумку. Кладу паяльник. Потом достаю обратно. Кладу отвёртку. Потом думаю и кладу ещё одну катушку —

чистую. Запасные носки забываю. Это я пойму потом, когда будет поздно.

Телефон лежит на тумбочке. Ни одной палочки. Я беру его в руки и понимаю, что мне даже некому позвонить. Не потому, что нет людей, — потому что все, кому я мог бы позвонить, сейчас в такой же пустоте, и у них тоже ни одной палочки. Мы все молчим уже три недели.

Я думаю про двор. Про автомат с кофе, который опять зажуёт стаканчик, и никто его не починит, потому что отвёртка будет у меня. Про Костю с его вырезками — он клеит их на скотч ровными рядами и подписывает карандашом, и карандаш у него всегда один и тот же, огрызок. Про то, что завтра планёрка будет без меня, и Геннадий Петрович скажет, что отставание — четыре процента, и это недопустимо.

За окном моросит. Я смотрю на улицу и вижу, как женщина в жёлтом плаще ведёт велосипед, потому что цепь слетела, и плащ у неё яркий, единственное яркое пятно на всей улице. Она проходит мимо, и я думаю: а ведь я её никогда не увижу снова. И это почему-то важно.

И ещё я думаю: а если я откажусь — что я буду делать вечером? Слушать гул из окна. Записывать его. И знать, что где-то там люди стоят на коленях.

Это не довод. Это просто мысль. Но после неё сумка становится тяжелее, и я понимаю, что уже решил.

Через час я спустился.

Внизу ждала машина. Не бронированная, обычная, серая,

и на капоте — капли, потому что дождь так и не кончился. Внутри было ещё трое. Никто не разговаривал. Я смотрел в окно и видел, как мой двор уезжает назад: сначала гаражи, потом старая котельная, потом столб с плакатом «Тыл — это тоже фронт», и бумага на нём всё ещё была отклеена с одного угла и хлопала на ветру. Я смотрел на неё, пока она не стала точкой.

И понимал, что не знаю, вернусь ли.

Глава 4. То, чего мы не знаем

Сборный пункт был в ангаре за городом. Мы ехали туда ещё сорок минут, и дождь кончился только на выезде, будто город отпускал нас неохотно. За окном сначала тянулись гаражи, потом пустырь с бурьяном, рыжим и мокрым, потом бетонный забор, за которым ничего не было видно.

Ангар встретил холодом. Внутри пахло соляркой, железом и мокрой одеждой — тот запах, который остаётся, когда много людей одновременно снимают плащи. Под потолком горели лампы, и свет у них был жёлтый, больной, будто они устали светить. Люди ходили в спешке: кто-то грузил ящики, кто-то проверял оружие, кто-то просто стоял и курил у ворот, и дым уходил вверх, к лампе, и там висел.

Я стоял с сумкой в руке и чувствовал себя лишним.

В коридоре на стене висело объявление. Бумага серая, шрифт мелкий: «Требуются специалисты технического профиля. Гражданские. Оплата по договору». Внизу было оторвано, телефона не было. Я прошёл мимо. Тогда я ещё не

думал, что это про меня.

Мне выдали форму. Она была велика на размер: рукава болтались, и я всё время подворачивал их, а они разворачивались. Мне выдали бронежилет — тяжёлый, неудобный, с креплениями, которых я не понимал, и он давил на плечи так, будто хотел вдавить меня в землю. Мне выдали винтовку. Она была холодная, и металл у неё был матовый, будто его долго держали в руках.

— Это твоё, — сказал человек с планшетом. — Разберёшься.

Отряд наш был двенадцать человек, включая меня. Старший инструктор по выживанию — женщина, лет сорока, с седым виском и спокойным голосом. Её звали Вера. Командира я пока не видел: он должен был повести нас от другой точки, после выхода из лагеря. Так объяснили. Я не спросил почему.

Вера построила нас во дворе. Двор был бетонный, с лужами, и в лужах отражалось небо, серое, но светлое, будто дождь умыл его. Она шла вдоль строя, и я замечал, как она движется: не быстро и не медленно, а точно, будто каждое движение у неё было посчитано. На ней была куртка серо-синяя, с потёртыми локтями, и ремни подогнаны так, что не видно ни одной лишней пряжки.

— Задача — разведка. Идём туда, откуда не вернулась группа Корнеева. Срок — трое суток. Если через трое суток не выйдем на связь — нас не ищут. Вопросы?

Вопросов не было. У всех.

— Я не командир, — добавила она вдруг. — Я инструктор. Командир будет на точке. До точки идём тихо и без самодеятельности. Всё.

Потом я сидел на койке и разбирал винтовку. Не потому, что хотел, а потому что не мог иначе: я должен был знать, как она устроена. Койка была железная, с сеткой, и сетка продавлена в том месте, где кто-то уже сидел до меня. Рядом сел парень, лет двадцати пяти, с круглым лицом и рыжими волосами, которые он пытался пригладить, но они не гладились. Лицо у него было молодое, но у глаз уже морщинки, будто он щурился на солнце или не спал неделю.

— Первый раз? — спросил он. — Видно? — По рукам видно. — Он улыбнулся. — Ничего. Я тоже первый. В смысле, тоже недавно.

Он протянул руку.

— Пашка. — Илья.

Комбинезон на нём сидел не по уставу: рукава подвёрнуты, ворот расстёгнут, а на груди пришит самодельный карман из брезента — криво, но крепко, и рыжая нитка торчала из шва. Из кармана торчал карандаш и уголок сложенной фотографии.

Рядом с койкой, прислонённый к тумбочке, стоял автомат. Не казённый — я такие видел на барахолке, — с потёртым прикладом, обмотанным изолентой в двух местах. Пашка его не сдал в оружейку. Я не спрашивал почему.

— Ты чего с винтовкой как с лопатой? — спросил он. — А как надо? — Не знаю. — Он пожал плечами и кивнул на свой автомат. — Я тоже не умею. Но я хотя бы делаю вид.

Он достал из кармана кубик сахара в фольге, развернул, положил в рот. Фольга блеснула под лампой, и на секунду мне показалось, что в ангаре стало светлее.

— Будешь? — Нет. — Зря. Там, — он кивнул в сторону леса, — сахара не будет.

И добавил, уже без улыбки:

— У меня мать в Саратове. Она думает, что я на сборах. Если что — скажи ей, что я на сборах. — Скажу. — Ага. — Он снова улыбнулся и отвернулся к потолку.

Потом меня вызвали в кабинет на втором этаже. Комната с железным столом и двумя стульями. На стене карта, вся в карандашных пометках, и я не понимал, что они значили. За окном темнело — не потому, что вечер, а потому, что тучи сгустились снова.

За столом сидел человек в гражданском. Лет пятьдесят, свитер, очки на шнурке. Он не был военным — я это видел сразу. У военных другое лицо, а у него было лицо человека, который всю жизнь читал лекции и привык, что его слушают.

— Садитесь, — сказал он. — Меня зовут Борис Львович. Я не военный, если вы об этом думаете. Я занимаюсь сигналами.

Он снял очки, положил на стол, и шнурок собрался в кольцо.

— Вы записали гул. Дважды. И один раз — голос. Это верно? — Верно. — Расскажите, как вы его слышите.

Я рассказал. Про рисунок, про паузы не там, где ждёшь, про то, что гул меняется, когда кто-то всматривается. Он слушал не перебивая, кивал, иногда что-то писал в блокнот. Блокнот у него был потрёпанный, с загнутыми уголками, и он листал его быстро, будто знал, где что.

— Хорошо, — сказал он, когда я закончил. — Теперь я скажу вам, что мы знаем. И чего мы не знаем.

Он откинулся на стуле. Стул скрипнул, и он не обратил на это внимания.

— Сигнал есть. Его слышат приборы. Большинство наших приборов его не распознают, потому что он не похож на то, что они ищут. А вы его слышите. Мы не знаем почему. Может, потому что вы годами крутили ручки на старых приёмниках. Может, потому что у вас слух такой. Я не буду делать вид, что знаю.

— А голос? — спросил я.

— Голос мы прогнали через всё, что у нас есть. — Он говорил медленно, будто взвешивал каждое слово. — Ни одна станция не признала запись своей.

— И что это значит?

— Это значит, что мы не знаем, чья она. — Он посмотрел на меня. — Это не значит, что она не наша. Это значит, что мы не знаем.

Я ждал, что он скажет ещё что-нибудь. Он не сказал.

— Борис Львович, а вы сами слышите сигнал?

— Нет. — Он сказал это без сожаления. — Я слышу только приборы. Приборы говорят «есть сигнал». А что в нём — не говорят. Поэтому я спрашиваю вас, а не наоборот.

— А если я ошибусь?

— Ошибётесь — мы узнаем что-то новое. — Пауза. — Плохо, если ценой будете вы. Но это единственный способ узнать.

Он встал. Свитер на нём был старый, с растянутым воротом, и это почему-то успокаивало.

— Подумайте до утра. Утром скажете командиру.

— Борис Львович.

— Да?

— А почему вы не военный?

Он улыбнулся впервые за весь разговор.

— Потому что военные не умеют говорить «я не знаю». А я умею. — Он надел очки, и шнурок снова лёг на свитер. — Это, пожалуй, единственное, что я умею хорошо.

Я уже взялся за дверь, когда он добавил — будто вспомнил:

— И ещё. Командир ваш, Бродов. Он уже водил отряды на поиски группы Корнеева. Дважды. Оба раза возвращался почти один. — Он посмотрел на меня поверх очков. — Я говорю это не для того, чтобы вы нервничали. Я говорю это для того, чтобы вы знали.

— Почему вы мне это говорите?

— Потому что вы будете с ним в одной группе. И потому что вы слышите сигнал. — Он помолчал. — Иногда это помогает заметить то, чего не видят другие.

Я вышел из кабинета и пошёл по коридору. В ангаре уже было темно, горела только одна лампа над дверью, и её свет дрожал, будто она устала держаться. Пахло соляркой и остывшим металлом. Пашка лежал на койке, не спал — смотрел в потолок, и в темноте рыжие волосы казались тёмными. Автомат стоял у тумбочки, и приклад блестел в свете лампы — изолента на нём стёрлась до блеска.

— Ну что? — спросил он. — Ничего, — сказал я. — Поговорили. — Понятно.

Он не спросил больше. Я лёг. Лампу погасили. Генератор гудел за стеной, ровно, без перебоев. Но я всё равно прислушивался — и слышал: рисунок есть. Он и здесь был, в этом гуле, только слабее.

Я думал: а если откажусь? Вернусь домой, к приёмникам, к паяльнику. Буду слушать гул из окна. Буду знать, что там, за лесом, люди стоят на коленях.

Я закрыл глаза.

Утром скажу командиру, что иду.

И заснул.

Глава 5. Туман

Мне снился дом.

Всё как обычно: стол у окна, паяльник, приёмник в деревянном корпусе. Я сидел и паял. Пахло канифолью, тёплой

пылью и немного — чаем, который я забыл на подоконнике. Окно было открыто, и на улице кто-то разгружал машину, ругался, хлопал дверца. Обычный вечер. За окном был рыжий закат, и в нём тонули крыши гаражей.

Потом приёмник включился сам.

Не резко — щелчок, и всё. Шипение. Я потянулся выключить, но не успел: шипение сменилось голосом.

Женский, тихий, будто очень далеко.

— …успела… — говорил он. — …считай…

Я крутил ручку настройки. Голос плыл, распадался на слоги.

— …не больше…

— Чего не больше? — спросил я.

Ответа не было. Только шипение, и в нём — рисунок, тот самый, с паузами не там, где ждёшь.

Я встал и пошёл к окну. За окном была не улица. Туман. Плотный, серый, ровный, как бумага. Он гасил звук: шагов не было слышно, машин не было слышно, даже собственного дыхания. Закат исчез, будто его и не было. Я вышел из дома — и оказался на поляне.

Трава была мокрая, и на ней — роса, крупная, как бисер. В воздухе пахло грибами и сырой землёй. И тишина была такая, что я слышал, как где-то далеко капает вода.

На поляне стояли люди. На коленях. Человек двадцать, может, больше. Они не двигались, но губы у них шевелились. Все считали. Я подошёл ближе — и услышал, как один сбил-

ся. Он замолчал. И замер. Совсем. Будто из него вынули что-то.

Перед ними стоял прибор. Похожий на тот, что у контрактников на перекрёстке, только больше, в человеческий рост. Он гудел. Рисунок в нём был плотный, частый, как стук зубов. И в этом гуле был третий слой, который я раньше не слышал. Он был тихий, но он был, и он тянул.

Я хотел уйти, но ноги не шли. Я стоял и слушал. И понимал, что тоже начал считать — про себя, одними губами.

Один. Два. Три.

И тут я увидел зайца.

Он сидел на краю поляны, у самой травы, и не боялся. Серый, с рыжими подпалинами на боках, уши прижаты. Он смотрел на меня, и нос у него двигался — быстро, мелко, будто он считал что-то своё. Он был живой. Он был не под сигналом. Он просто был здесь.

Я смотрел на него и думал: если он не считает, значит, можно не считать. Значит, можно просто сидеть и смотреть на траву. Я хотел так. Я очень хотел так.

Заяц дёрнул ухом и ушёл в туман. Тихо, без всплеска, будто его и не было.

Сбоку, на краю поляны, кто-то полз. Женщина. Я видел её со спины: серая куртка, растрёпанные волосы, и в волосах — травинки. Она ползла медленно, цепляясь за траву. В руке у неё что-то блестело. Я присмотрелся — часы. Наручные, с треснувшим стеклом. Стрелки стояли.

Она обернулась.

Лица не было. Вместо лица — серое, ровное, как бумага. И в этом сером — только рот. Он открылся и сказал одно слово:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.